

Владимир Маяковский застрелился в апреле 1930 года. Прошли месяцы, прежде чем Сталин назначил его Главным Поэтом СССР (посмертно). В течение паузы — от пули до знаменитой записки Ежову — судьба имени и сочинений поэта висела на волоске. Что это значит? Это значит, что совершенно реальным было запрещение Маяковского наподобие Бунина или Ходасевича. Маяковский-сатирик, Маяковский-«попутчик», Маяковский-футурист — все эти данные советской анкеты хорошо годились для скульптурного портрета «злейшего врага социализма» (в глине). Но минуло четыре-пять лет, и от Бреста до Камчатки живо расплодился директивный статуи Великого Пролетарского (в бронзе).

Лучшие стихи и поэмы задвинули в тень, худшие или натужные ввели в хрестоматию, и никого больше не удивляли факты и личные признания, из которых ясно, что наступлению «новой эпохи» поэт посвятил наступление «на горло собственной песни». Загадок и чудес не счесть в России. Одна из многих: жизнь и судьба Лили Юрьевны Брик.

Миниатюрная, хрупкая, худенькая, узкие губы, большие глаза, не красавица и не «вамп», скорее — интеллектuala из московского еврейства. Ее «внутренние и внешние качества» предоставили широкие возможности для любви, клеветы, восхищения и возмущения — как при жизни, так и после смерти.

Конечно, это чудо, как бы его ни пытались объяснить: оставшись одна в доме поэта-самоубийцы, посреди его драгоценного архива, холодея от приближения «карающего меча», маленькая женщина пишет отчаянное письмо Сталину. Оно попадает в Кремль, а оттуда возвращается с резолюцией вождя...

В сейфе Лили Юрьевны, на квартире в доме у Москвы-реки, можно было среди личных реликвий увидеть копию сталинского вердикта: «Тов.Ежову Н.И. ... о письме тов. Л.Брик... Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление...»

Спасая честь и слово гениального русского поэта, маленькая женщина

Вениамин Смехов

Русская мысль. - Париж. - 1995. - 31 авг. - с. 11. «Лили, люби меня...»

(скажем по-старинному, Муза Поэта) оказала сказочную услугу... Кому или чему услуга — об этом и Л.Ю., и все друзья, и следующие поколения смогли догадаться гораздо позже.

Но об этом уже столько сказано-пересказано... Лучше вернемся к чудесной женщине. Почему я так близко к сердцу принимаю эту тему? Среди самых ярких даров моей незадолго до богатой судьбы — семь лет постоянного общения с домом и миром Лили Юрьевны Брик.

Осенью 1995 года состоится выставка «Берлин—Москва». Ее идея воз-

никла не только по историческим причинам (общие интересы, огромная колония русской интеллигенции в 10—40-е годы), но и по эстетическим: уж больно хороши и успешны были в 70-х годах выставки «Париж—Москва» и «Москва—Париж».

16 сентября 1995 года. В программе выставки «Берлин—Москва» значится концерт-спектакль «Лили, люби меня».

Это моя пьеса, составленная из стихов, писем и документов, которые связывают имена и времена Маяковского и Лили Брик, Москву и Берлин, Моск-

ву и Париж, Ригу, Прагу, Мексику...

В спектакле заняты он и она. Его исполняю я, а ее — замечательная актриса берлинского «Дойче театра» Дамар Манцель. И вот какое стечение обстоятельств: в Берлине состоится спектакль, а по каналу Российского телевидения в июле 1995 года покажут мой фильм — рассказ о Лиле и ее доме.

Кстати, не в Москве, а именно в Берлине пару лет назад в галерее Натана Федоровского прошла блестящая экспозиция «Мир Лили Брик» — фотографии, документы, картины. И

выставки больше нет, и жизнь Натана трагически оборвалась...

Москва и Берлин многократно пересекались в жизни Л.Ю.Брик и В.В.Маяковского. Даже самый печальный документ из архива Лили — из Берлина. 14 апреля 1930 года шли по почте на встречу друг другу письмо из Амстердама и телеграмма из Москвы в Берлин.

По дороге к дому Л.Ю. весело пишет Маяковскому: «Амстердам — Москва... Волосик! До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики — тюльпаны, гиацинты и нарциссы. (...) За что ни возьмешься, все голландское — ужасно неприлично! Сейчас едем в Берлин. Купим Володе трость и коробку сигар». А в Берлине, в Курфюрстенотеле, еще не распаковав чемоданы, Лили Юрьевна и Осип Максимович Брики получают из рук швейцара телеграмму от Льва Гринкруга: «Segodnia utrom Volodia pokontchil soboi»...

Есть люди, которые своими речами, делами, глазами, плечами — навоят смертную тоску.

А есть люди, которые даже из-под обломков катастрофы, даже с того света — веселят душу живой радостью.

Я думаю, больше всего это зависит от суммы: талант плюс юмор. Из моего личного опыта, так вспоминаются Н.Р.Эрдман, В.С.Высоцкий, С.И.Параджанов, Ю.И.Визбор, Л.Ю.Брик... Сколько страданий, сколько ударов со всех сторон, но даже звук имени зовет улыбнуться...

Кстати, о Сергее Параджанове. Уже уходя из жизни, он написал последнее свое письмо, в котором ему впервые изменило чувство юмора — столь сильно он был разгневан «свежей клеветой» в адрес Лили Юрьевны Брик. Клеветой, которая связала покойную Л.Ю. и его имя... Из Тбилиси, 26 октября 1989 года: «Лили Юрьевна — самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба... Известно, что она тяжело болела, страдала перед смертью и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни... Наши отношения всегда были чисто дружескими. Так же она дружила с Шедриным, Вознесенским, Плисецкой, Смеховым, Глазковым, Самойловой...»

Когда я слышу или читаю очередную чепуху на тему «Лили Брик и мужчины», я только посмеиваюсь. Как никогда уже нам не понять житейских, а не книжных правил благополучия и товарищества лицезритель, декабристов или Панаевых-Некрасовых, так не понять нам и беспрерывной, всежизненной «триады» Брик и Маяковского. На любой вопрос охотно и звонко отвечала Лили Юрьевна, а порою — сперва хорошо посмеется, а потом скажет (пользуясь записью дневника 1973 года): «...да просто не могли, не хотели жить врозь! У Осипа Максимовича была своя дама, у Володи — своя, наша совместная жизнь прошла раньше, но мы решили не расставаться и не расставались, и очень интересно шла жизнь... Володя приносил мне свои стихи, чтобы я знаки препинания ему расставила (он их не уважал); Осип Максимович был его первый и любимый редактор... В Гендриковом переулке сходились вниз завтракать, каждый из своей комнаты... Володя — раньше всех... Он очень любил слушать Осип-Максимовича, как тот говорит об искусстве, об истории... Сидит внизу и так жалобно просит: «Ну, Ося, ну идите ко мне, ну расскажите еще о сороковых годах!»

Из самых памятных признаний Лили — это вместо серьезного ответа на слухи о «любовном треугольнике»: «Знаете, дуракам завидно, вот они и лезут в чужую жизнь, а я всегда любила одного! (пауза, еле сдерживает смех от удачного афоризма)... Одного Ося, одного Володю, одного Примакова (расстрелянный герой гражданской войны) и одного Васю!..» И она заливалась радостным смехом, и гости, и сам «Васка» — муж Лили Василий Абгарович Катанян, писатель, литературовед и интеллигентнейший хозяин дома...

Этому уровню культуры и самообладания, наверное, нельзя научиться. Маленькая, почти высохшая старушка, чем она была так защищена, что не погибла в 60-х годах от новых могучих атак бесчеловечного государства?

Моя Лили, Лили
и старая дама,
маленькая
серьезно — не
не поддается
правду
Григорий Шенкер
его мать, сын, дочь
дети, папа, дедушка
брат, сестра
В.В.
В семье 10 человек
братов, сестер, дедушек
и бабушек



Владимир Маяковский, Лили Брик,
Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн.

Страница предсмертного письма В.В.Маяковского.

Пострадавших вывозят на берег, прямо к костру. Минька-моторист не открывает рта на все звучные упреки перевозившей его рыжей Шурки, и бережно держит в руках что-то уцелевшее, непонятное. Вот он выходит на берег, вот он подходит к костру — вид его неопишум. Мокрая одежда блестит, как латы, а в руках у него оказывается горшок с развесистой лилией — поручение Афиногеновны.

Молча вручает он лилию Афиногеновне, та, опешив, молча принимает ее, а баба Лёля всплескивает тощенькими своими ручками и говорит умиленно: «Милый ты мой! Ну чисто архангел Гавриил!»

12

Шурку зовут «рыжей», потому что иначе ее не назовешь. Когда утром она укладывает волосы, кажется — лиса хвостом машет.

Сама она высокая, широкоплечая и размашистая, как мальчишка, головка маленькая, лицо острое, с небольшим жестким ртом и угрюмоватыми карими глазами.

Так поглядишь — и никогда не дашь ей ее двадцати семи лет, а как заглянешь в глаза, твердый блеск которых ничуть не смягчается наивным сиянием золотых ресниц, то догадываешься, что видано ими ох как много.

Держит себя Шурка спокойно и сдержанно, не поймешь, терпелива она или равнодушна. Ругает ее Афиногеновна — молчит, спорит и ссорится бабы — не ввязывается, ее затронут — не отвечает или скупой улыбнувшись отшутится.

Живут они с Афиногеновной и Шуркиными дочками Тоней и Таней в той самой огромной комнате, которая когда-то досталась Афиногеновне «от советской власти». Еще тут живет Панька «Шуркин мужик», но он вечно то на рыбалке, то на охоте, и его никогда не видно.

Афиногеновна с Тонькой спят в углу, на огромной двуспальной кровати, а Шура с Танькой скрываются за розовым пологом в другом конце комнаты.

Мы же располагаемся на полу. Иногда к нам примыкают какие-нибудь путники-колхозники из Костина или Мельничного, почталыоны, и тогда долго не удается уснуть — Наталья Афиногеновна задует лампу, и как ни в чем не бывало продолжает беседу с гостями. Знает она район, как свои пять пальцев, куда лучше председателя исполкома, и неторопливо расспрашивает где, что, почему и почему.

Утром первой просыпается Танька. Она выглядывает из-под розового полога голенькая, как рыбка, и кричит «мака» (что значит молока) и «хаху» (сахару).

Это неизменно, как петушиный крик, и при этих звуках, как при первых тактах гимна, все встают.

Афиногеновна ставит самовар с медалями, Фая или Вильма идут по воду, я — в ларек за хлебом, Шура же, повязавшись по самый нос белым платком, берет закопченный чайник, хлеба с солью в узелок, говорит, ни к кому не обращаясь, «я на покос сегодня» и уходит.

Эту неделю на нее нашел стих косить наравне с мужиками, и она каждое утро ездит одна на лодке через Енисей на тот берег, и каждый вечер возвращается одна, нагрузив лодку травой для коровы.

— Скучает, — как объясняет нам Афиногеновна. — То ли за мужиком скучает, то ли просто так.

Когда Шура не скучает, она выходит вместе с нами на огород убирать картошку, и тогда за ней тянется «хвост», Тонька и Танька; босиком, с корзинками, куда тоже собирают мелкую-мелкую картошку, травку и цветочки.

Из дочерей Шура явно предпочитает младшую, прощает и позволяет ей все («готова ей ноги мыть и с ног воду пить») — с неудовольствием говорит Афино-

геновна), а старшую, шестилетнюю красавицу Тоньку обижает, обделяет и за малейшую провинность бьет грубой, тяжелой рукой.

Работает Шура хорошо, добросовестно, но как-то невесело, как будто бы думая все время свою какую-то думу.

13

Ко мне она долго приглядывается. Фая сразу не нравится ей своей учтивостью, оттопыренным мизинчиком и медкотравчатой милостью, Вильма — молчаливостью, которую она принимает за презрение.

— А ты мне по душе. Ты не спешишь отсюда ехать, как вон те, и еще... Ты понимаешь... — она не находит слов и неопределенно проводит рукой вокруг, как бы оглаживая и поля с купой берез и церковкой посередине, и тот берег, и горизонт. — Ты понимаешь, — говорит она утвердительно.

Мы сумерничаем на крыльце, положив ноги на большую белую лайку Волгу, в хорошую погоду живущую на завалянке, а в ненастье — под крыльцом. Нам холодно, но мы не идем в избу. Своим плечом я чувствую Шурино плечо и крепкую руку, и возле своего лица вижу ее потеплевший карий глаз и острую веснушчатую скулу.

— Вот ты спрашиваешь, зачем Тоньку обижать. Не хочу я этого, а — не могу. Жалею, а — ну не люблю, и все тут. Ничем не виноват ребенок, а с ним, с тем, на одно лицо. Всю душу мне искорила. Забыть его не даст, недруга. Ты ведь не знаешь или, может, бабы сказали? Она же у меня кустарщина, самодельщина, Тонька-то. Он, как узнал, что я не порожня, бросил все и уехал. По найму работал, рассчитался — только его и видели. Куда подался, я и по сей день не знаю.

А я-то, а мне-то — как по голове шарахнули — такая простая вещь, парень бросил! — а понять никак не могу, хожу, вроде ничего не чувствую, только на лице кожу стянуло до невозможности, и во рту все сохло, все воду пила я.

Что тебе скажу: как со мной гулять он начал, так девки сильно мне завидовали, что какая-то Шурка-рыжая такого парня завлекла. Красавец он был — да что и говорить, ты на Тоньку погляди! А я... ну, сама знаешь, я и девчонкой такая же выдра была, ни кожи, ни рожи, голова морковная, а веснушки все равно что копейки медные. Век сама себя стеснялась и повернуться не могла по-людски, на девках платья как платья, а на мне — что хомут.

И куда что девалось, и откуда что взялось, как полюбил он меня! Смешно вспомнить. Хожу королевой, куда там! Хожу да зубы скалю, да песни пою — дура проклятая!

...Родила я Тоньку в этой самой избе, у Афиногеновны на кровати. Она же и принимала. Сроков я не знала, в больницу не ездила, да и наш, мироединский фельдшер как раз в отлучке был.

Сама твердо решила — как рожу, так и удуш, пусть расстреляют, пусть что хотят. Афиногеновна знала все это, девчонку мне к груди приложила, подождала, пока та сосать начала, и говорит — теперь, говорит, спи с Богом, теперь ты ее не тронешь. И правда.

Ну вот, года через три вышла я за Пальку, потом Таньку родила. Живу хорошо, ничего мне не надо. Как бы не Тонька, и я бы забыла, и Палька выпивши не корил бы.

Поверишь ли, как бы я узнала, что он помер — тот-то! — лихою смертью, так от души бы отлегло. А встретила бы его (карий глаз возле моего лица меркнет и вспыхивает звериной искрой) — тут же на месте порешила бы чем под руку попало, топором ли, камнем ли. Волчья душа!

Продолжение следует. Начало в №4087.

Окончание на стр. 12